

Викентий Викентьевич Вересаев

**В сухом тумане**

**Викентий Викентьевич  
Вересаев**

**В сухом тумане**

Товарно-пассажирский поезд медленно полз по направлению к Москве. Вечерело, было очень жарко и душно. В вагоне нашем царствовала сонная скука и молчаливость; пассажиры – все больше из "серой" публики – спали на скамейках и на пыльном, заплеванном полу, либо вяло разговаривали, куря махорку. Сидевший против меня меднолитейщик из Москвы молча крутил черную бородку и сумрачно смотрел в окно. Он ездил на побывку к себе в деревню и теперь возвращался в Москву; в деревне ли у него было что-нибудь неладно, по характеру ли он был такой или действовала на него погода, – но все время он смотрел сурово и обиженно, как будто все мы очень досадили ему чем-то.

Погода была странная. Сероватая муть покрывала небо; солнце светилось сквозь нее бледным пятном; неясный горизонт терялся в густой серо-лиловой мгле, и трудно было понять, что это там – тучи, дым или что другое. Проносившиеся мимо поля, рощи, деревни – все было окутано синеватою дымкой, словно туманом; но какой туман мог держаться в этом сухом, раскаленном воздухе, в котором

почти мгновенно таял валивший из трубы пар? Ни одна травинка не шевелилась, над полями стояла странная тишина. Что-то непонятное, загадочное было во всей природе, это томило и раздражало.

– Вот погода удивительная! – сказал я. – Должно быть, где-нибудь леса горят.

– Это не леса горят, – возразил плотный, приземистый плотник-рязанец. – Это сухой туман.

– Какой сухой туман?

– К жаре. Жара, значит, туманною мглою идет по земле; где пройдет, все посушит на отделку.

– У нас под Чернью три года назад такой туман на поля пал, – заговорил бледный старик с болезненным лицом, в рваном, запла-танном зипуне. – В один день весь хлеб посох. Сыпется зерно, вязать начнет баба, – свясла в труху рассыпаются; такая спешка пошла, – кощу по три с полтиной в день платили, только коси поскорей!

– Что же такое туман этот? Пыль, что ли?

– Зачем пыль? Нет. Просто сказать, – сухой туман! – объяснил плотник.

– Значит, жара самая и есть, сушь! – прибавил старик.

Конечно, пылью это быть не могло. Но что же это?.. И начинало казаться, что это действительно зной принял доступный глазу вид и зловещим синим туманом стоит над сохнувшими полями, высасывая из них последние остатки влаги.

Старик вздохнул.

– Подержится так еще денек-другой, – посохнет колос! Думали, передохнем годок этот: больно по весне корешок хорош был; ан господь-батюшка опять прогневался, немилость свою посылает... А уж то-то народ отоцал! – сказал он, помолчав.

– Отоцал, – подтвердил плотник.

– И-и-и! Не роди мать на свет! Живут неведомо как! Как только зиму продержались! А про скотину и не говори. солома у нас по весне тридцать копеек пуд была! Я уж сколько живу, а таких цен не видывал...

Он еще раз вздохнул, почесал себе под зипуном плечо и неподвижно стал смотреть в окно – на это странное, мутное и в то же время безоблачное небо. Поезд пошел тише. Ми-

мо промелькнули три расцепленных товарных вагона, стрелочник, водокачка. Поезд подошел к станции, дрогнув, остановился и замер, словно мгновенно погрузился в сон.

И все кругом словно спало. Теперь, когда поезд не шумел, была еще поразительнее мертвая тишина, царившая над землею. По лугам и пашням, задернутым синеватою дымкою, молча бродили грачи, разинув клювы. Березы и липы станционного садика не шевелились ни листиком. Изредка налетит ветерок, вяло закачает их пыльные ветви – и сейчас же упадет, словно изнемогши от жары. Помощник начальника станции, зевая, расхаживал по платформе. У ограды, как изваяние, стояли два мужика-извозчика, поджидавшие седоков; они смотрели на поезд, щурясь от солнца, и казалось, будто их загорелые лица застыли в неподвижной улыбке.

В вагон вошел стройный парень с картузом на затылке, в желто-коричневой бумазейной блузе, испачканной красками, – видимо, маляр. Он с быстрою улыбкою огляделся и громко спросил:

– Местечко найдется, земляки?.. Ну, вот и

ладно! – продолжал он, увидев у окна пустую одиночную скамейку. – Как раз для нас приготовлена! Доедем как-нибудь!.. Недалеко ехать-то, – до Серпухова всего! – объяснил он неизвестно кому. – В три часа, чай, доедем.

Маляр сунул под скамейку свой узел, сел, поправил на голове картуз и сейчас же опять встал.

– А то нешто водочки пойти выпить? – быстро спросил он не то себя, не то окружающих.

– Давно уж буфетчик дожидается, – отозвался кто-то из пассажиров. – Куда это, говорит, запропал малый?

– То же и я говорю!.. Значит, работу кончил, расчет получил, – можно и выпить, как вы скажете?

– А ты где работал-то?

– А вон, за перелеском, графский дом красили. Ворошилов – граф известнейший. Сыну к свадьбе дом готовит... Наших там артель целая и сейчас работает... Эй, эй, земляк! – Маляр тряхнул за плечо дремавшего мужика, у которого свалился с головы картуз. – Чего шапку на пол кидаешь? Уговору не было! – Он

поднял картуз и бросил его на колени противравшему глаза мужику. – Ну, что ж? Нужно пойти, царапнуть!

Он вышел, и сразу в вагоне опять стало тихо. Я сходил за кипятком, заварил чай и пригласил к нему своих соседей – старика, плотника и угрюмого литейщика из Москвы. Раздался третий звонок и вслед за ним кондукторский свисток. Паровоз молчал. Маляр воротился и снова заполнил вагон своим громким, веселым говором, обращенным неизвестно к кому.

Кондуктор свистнул второй, третий раз. Паровоз помолчал еще некоторое время и потом вдруг хрипло и свирепо откликнулся. Маляр засмеялся.

– Чего ругаешься? Разоспалась машина-то наша! "Отстань ты, говорит, от меня, постылый черт! Не тревожь!.."

Поезд все не двигался. Маляр с любопытством высунулся из окошка. Кондуктор свистнул еще раз. Молчание. Где-то далеко раздался сердитый крик: "Наддай!"

– Вот так так! Не может машина с места сдвинуться, кондуктора наддают... Пойдем,

ребята, подсоблять! – стремительно обратился маляр к окружающим.

Пассажиры повысунулись из окон. Паровоз еще раз свистнул дико и хрипло, словно с перепою, заворчал и вдруг сильно дернул вагоны. Поезд тронулся.

Мы пили чай и вяло разговаривали, в тон вяло ползшему поезду и вяло дремавшей природе. Маляр был уж на другом конце вагона и громко спорил о чем-то с сельским священником с седенькой бородкой и в пыльной рясе. Странно было слышать, среди царившей в вагоне скуки, этот веселый голос неутомного и, должно быть, очень счастливого маляра.

Я стал расспрашивать литейщика о его поездке в деревню. Он сначала отвечал неохотно, потом постепенно разговорился. Оказалось, у него, правда, были неприятности: год назад в деревне расхворалась старуха мать литейщика, и на помощь отцу пришлось отправить из Москвы свою жену. Прошел год, мать все не поправлялась. Литейщик съездил в деревню на побывку и убедился, что мать его вообще уж больше не работница.

– Вот так, значит, и пойдет дело, – раздра-

женно говорил литейщик. – Жил себе в Москве благородно, чисто – все, как следует быть. А теперь – я в Москве живи, семейство в деревне... Разве это порядок?

Старик в зипуне спросил:

– Сын-то ты один у отца?

– Один.

– Ну, невозможно! – подтвердил старик. – Где ж без бабы с хозяйством управиться!

– О том я и говорю. Старуха на печи лежит, не сходит; до лавки дойдет – дыхание запирает. С нее не спросишь.

Он помолчал.

– А только я на то ругаюсь, что привык я, – на прежнее положение переходить неохота. Какое я могу иметь удовольствие без жены? Ей о том и забота, чтоб мужу прохладно было, – насчет ли харчей, насчет ли чего другого. Слава богу, пять лет прожил человеком, на бога не жалился. А теперь живи неведомо как. Веселое это дело – с квартирными хозяйками канителиться! Грязь, бестолочь, порядков никаких нет... Наша работа грязная, а хозяйки квартирные раз в месяц стирают. Что ж мне, три дюжины рубашек держать? А же-

на на то не смотрит, время ли стирать, нет ли; видит, неаккуратно муж ходит, и выстирает. Опять с едою: обедаешь в трактирах, в закусовых, – какая же приятность, скажите, пожалуйста?

– Вам, значит, теперь так всегда и придется жить? – спросил я.

– Так и живи.

– Да, тяжело.

– То-то вот я и говорю... А потом и то сказать: раз в год приедешь домой на недельку, а ведь тоже, извините... Знаете, живой человек! Тяжело без этого самого... Для чего же я в закон вступал?.. А как вы скажете, – могу я знать, что там без меня жена делает, как обходится? Баба она молодая, горячая.

– И ничего ей не скажешь! – вздохнул старик. – Бабе тоже без этого нужна. Горла не перервешь за такое дело. Она скажет: а ты зачем со мною не живешь?

– И верно.

– То ли уж не верно! – старик снова вздохнул. – Бабы у нас в деревнях живут все равно что сироты! Год за годом хитрее идет, жить становится труднее; земли мало, а народу раз-

множилось, всякий хочет жить, как пригородный, хочет жить легко.

Нынче машина увозит его на четыре года, и не увидишь сколько времени. Сам-то он там нешто тихо живет? Эх, бра-ат!

– И многие у вас в Москве так живут? – спросил я литейщика. – В Петербурге заводские больше живут с семьями.

– Нет, у нас, в Москве, этого мало. Все больше артелями живут, а семейство в деревне... – Он помолчал. – У меня товарищ был, мы с ним в паре вместе крупную работу работали. Горяч был на работу, – не угоняешься! Все в деревню посылал, дай, говорит, оправлю хозяйство, сяду на землю, своим домом заживу. Приезжает земляк из деревни. "Дядя Федор, а ведь баба-то твоя гуляет!.." Не поверил: сплетки, говорит, – мало ли что наплетут! Другие приехали, – все то же рассказывают: связалась с писарем... Ну, поехал, посмотрел, – верно! Махнул рукою, воротился, опять у нас работает. О доме думать перестал, стал водочкой заниматься: пропадай все пропадом... Вот те и оправляй хозяйство! – с усмешкой прибавил он.

Вошедший на последней станции маляр уже с десять минут стоял около нас, облокотившись о спинку скамейки, и внимательно слушал. Вдруг, с своею быстрою усмешкою, он громко сказал:

– Я так рассуждаю, что вы неправильно об этом говорите!

– Это насчет чего? – спросил литейщик.

– Вообще насчет ваших разговоров. Кто виноват в том деле, позвольте спросить? Говорите: в хозяйстве жена нужна. В хозяйстве? А мне не нужна?

Ближние пассажиры, привлеченные громким голосом маляра, один за другим стали подходить к нашей скамейке. Он продолжал:

– Значит, поженился, а там – "прощай, Саша, прощай, милая"? Ну нет, извините, пожалуйста!.. Я и сам женатый, а только поженился – и обязательно взял жену с собой в Серпухов. Позвольте вам сказать: она мне самому надобна!

– Неспособно мне так-то поступать, – неохотно ответил литейщик.

Маляр удивился.

– Как так неспособно? Почему такое?

"Неспособно"! Почему неспособно? – Он с вопросительно-недоумевающей усмешкою оглядел слушателей. – Не-ет! Поженили меня этак в деревне, – весело продолжал он, – отец мне и говорит: "Ну, Вася, ты, говорит, поезжай теперь к своему делу, а жена пуцай у нас останется". Ну, нет-с, извините, папаша... "Как?! Что?! Ах ты такой-сякой! Я тебя для чего женил? Чтоб бабу в хозяйстве иметь!" Бабу в хозяйстве! Эко дело какое! Как же это мы раньше не сталкивались? Ну, а я для того женился, чтоб жену иметь!

Кругом засмеялись. Какой-то длинный парень в серой поддевке быстро поправил себе на голове картуз и стал энергично чесать в затылке.

– Если здраво рассуждать, в здоровом рас-судке... – начал он, широко раскрыв глаза, и замолчал, справляясь с поразившими его сло-вами маляра.

Маляр быстро обратился к нему.

– Вы думаете, я неправильно говорю?

– Нет, я говорю... Если здраво рассуждать...

И парень снова замолчал, раскрывая рот, чтоб что-то сказать, и ничего не говоря.

Мой сосед-плотник, все время молча слушавший наши разговоры, теперь вдруг заволновался, для чего-то поднялся, опять сел...

– погоди, я знаю, что тебе на это сказать! – обратился он к маляру, возбужденно водя руками в воздухе. – Вот что. Поженили тебя. Почему? Баба нужна, бабы нет в доме... Хорошо, – погоди!.. Бабы нет. Что ж ты без бабы делать будешь в хозяйстве? Как управишься? Как без бабы управишься? Голубчик, голу-убчик!.. Без бабы хозяйству зарез!.. Вот что я тебе сказал против этого! – удовлетворенно произнес он, перестав махать руками.

– В хозя-айстве? – иронически передразнил маляр, но его прервали, и все сразу заговорили.

– В город жену свез! – резко сказал широкоплечий извозчик. – Так ты, может, граф, получаешь тыщи? Сказал слово! Как жить-то будешь в городе с семейством, подумай ты в своей башке!

– Понятное дело, где ж прожить, – отозвался из толпы ламповщик с пригородного завода. – Восемь рублей мне жалованья идет, – обратился он ко мне, – где ж тут с семейством

проживешь, рассудите сами. Дай бог на по-  
дать скопить, и то слава те, господи! Вот на  
мне кафтан, а под кафтаном, может, нет ниче-  
го!

Маляр решительно отрезал:

– Не можешь в городе жить! Не лезь не в  
свое место! В деревню ступай, хозяйствуй!

– А с чего хозяйствовать будешь, дурья ты  
голова, козырь! – воскликнул извозчик. – Нас  
вот пять братьев, а надел на полторы души. По  
избе построит каждый, – и пахать нечего. По-  
лоска – сюда отвалил, туда отвалил, и нет ни-  
чего... "Хозяйствуй"!.. И рад бы хозяйство-  
вать!.. Велика сладость век в чужих людях  
жить!

– Не проживешь нынче с хозяйства, нет! –  
сказал мой сосед-старик. – Есть податели со  
стороны, – ну, обернешься как-никак; а без  
подателей не управишься, где там!

– "Хозя-айствуй"! – еще раз сердито повто-  
рил извозчик. – Тьфу! Глупые твои слова!..

Он махнул рукою и отошел. Возражения  
продолжали сыпаться одно за другим. Маляр  
был разбит по всем пунктам; он не сдавался,  
но для всех уже было ясно, что перед ними

просто чрезвычайно легкомысленный человек, который говорит, сам не знает что.

Разговор разбился на отдельные группы, постепенно захватывая все больше пассажиров. По всем концам вагона оживленно и взволнованно обсуждалась и опровергалась еретическая мысль, высказанная забубенным маляром.

Поезд, гремя и колыхаясь, мчался вперед. Тусклое, кроваво-красное солнце медленно опускалось в грязно-желтую мглу запада. Все та же туманная дымка теперь еще гуще окутывала поля, и все так же странно и непонятно глядела природа. На душе было смутно.

Да, маляр судил легкомысленно – это было ему доказано самыми неопровержимыми доводами, на которые возражать было нечего. Хозяйствовать в деревне! Но уж один грозный сухой туман, стлавшийся по полям, давал на это такой выразительный ответ, что становилось жутко. А предложение все порвать и жить в городе звучало прямо насмешкою над многими из тех, к кому было обращено. И тем не менее... тем не менее еретическая мысль маляра заключалась ведь не в чем другом,

как в том, – что человек женится для того, чтоб иметь жену! И сумел же он так искусно поставить вопрос! Недаром все возражавшие, предъявляя свои неопровержимые доводы, в то же время так сердились и раздражались: маляр был легкомыслен, рубил с плеча, – но как хотите, а человеку полагается жениться именно для того, чтоб иметь жену...

В Серпухове с поезда сошел маляр, сошли плотники и мой сосед-старик. Мы остались с литейщиком. В вагон набились новые пассажиры. Поезд пошел дальше. Я спросил литейщика:

– Ну, а отдохнули вы по крайней мере в деревне?

– В деревне-то?.. Как сказать? Для нашего брата в деревне отдых плохой. Скука! Прожил две недели и не чаял, когда уеду. Ведь тоже, знаете, привычка требуется. Еду, скажем, взять; деревенская еда известная – тюря да лук; народ не балованный. А с отвычки этак поживешь – живот подводит.

Мне что из того, что говядина у меня по двору гуляет, мне ее в чашке надо; а тут – нет!

Говядину холь, а ешь редьку.

– Вы-то, я вижу, навряд ли когда захотите перебраться в деревню!

– Где уж там! – Он махнул рукою. – Я и от работы деревенской отвык. Недавно вот покосил день на барском лугу, – мы его помещику миром убираем за выгон, – так все руки отмахал, посегодня болят. Да и то сказать, – чем жить будешь в деревне? Ведь в нынешнее время, знаете, не кормит она, деревня. Надежды у нас малые; летом отработался, а зимою заколачивай избу да иди, куда хочешь, работы искать; на месте вот как платят: в лесу колоть-пилить – двадцать пять копеек, с лошадыю – шестьдесят. А одного оброку, если на правленские считать, на старосту, на училище, – двадцать пять рублей заплати за две души. Откуда возьмешь!

– Так ведь живут же у вас все-таки землею?

– Где же живут? Без подателей не проживут: сыновья подают со стороны. А если один мужик в доме, то на зиму уходит на место, только баба остается. Вы извольте сами рассудить: с чего жить? Сена – дай бог, чтоб на

свою скотину хватило, овес – две четверти с двумя мерками отдай в общественную магазею, остальное своей же лошади скормишь; хлеба – хорошо, как до Филиппова дня самим хватит... А подати, а одеться? Керосин, спички, чай, сахар, мелочь всякая? Как крепко ни живи, а без них не обойдешься... Вот и рассудите, как же тут прожить?

– Что же вы будете делать, когда ваши старики умрут?

– Тогда без работника не обойдешься; придется работника брать на лето.

Начиналось что-то непонятное, раздражающее и давящее своею несообразностью.

– Да какая же вам выгода нанимать работника? Что вы имеете от земли? Что она пять месяцев в году дает хлеб вашей семье?.. Вы вот в месяц зарабатываете за пятьдесят рублей, – сколько одних этих денег вы в землю всадите! Сами же вы жалуетсяь, что вам без семейства скучно жить. Отчего вам его не взять к себе? Слава богу, на пятьдесят-то рублей можно прожить в городе и с семейством.

– А за землей кто будет ходить?

– Кто! Ну, в аренду можно ее сдать.

– Как же это сдать в аренду? В аренду сдать, все хозяйство порешишь.

– Да на что оно вам, хозяйство?

Литейщик с недоумением посмотрел на меня.

– Вы этого, господин, не понимаете, – медленно и поучающе произнес он, словно говоря с малым ребенком. – Как на что? Чуть что коснись, – скажем, работы нет, скажем, заболел, стар стал, – куда денешься? На улице помирать? А тут все-таки свой угол; сыт не будешь, так хоть с голоду не помрешь.

Я замолчал. Литейщик тоже молчал. Потом заговорил опять:

– Наша работа вредная. Медь на грудь садится, все в чахотке помирает народ; до сорока лет мало кто доживет здоровым. Куда тогда пойдешь? В деревню, больше некуда.

– Невеселая ваша жизнь будет в деревне.

– С одной тоски помрешь.

Он задумчиво поглядел в окно.

На мглистом горизонте, над лесом, алели мутно-пурпуровые пятна. По-прежнему было душно и тихо. По склонам лоцин лепились убогие деревеньки, в избах кое-где засвети-

лись огни; окутанные загадочною сухою мглою, проносились мимо нас эти деревеньки – такие тихие, смиренные и жалкие...

Ответ моего собеседника не был для меня новостью; уж много-много раз приходилось мне слышать тот же до стереотипности тождественный ответ: "Как порвешь? Чуть что коснись, – заболел, стар стал или что, – куда денешься?"

Что и говорить, это ли не основательная причина! Когда человек вконец измотается на работе, когда, бессильный и больной, с изъеденными чахоткою легкими, он будет выброшен на мостовую, как негодная ветошка, что тогда?

Тогда себя, мой гордый брат,  
Голодной смертью умори ты!

Лучше уж медленная агония в деревне. Но ведь все-таки же это не больше, как агония! А право на эту агонию приходится покупать ценою ломки и калечения всей жизни...